

Сергей Дурылин. «Сладость ангелов»

Рассказ

Предлагаем читателям «Путеводителя русской литературы» познакомиться с произведением удивительного русского писателя и ученого Сергея Николаевича Дурылина (1886–1954). Так сложилось, что художественное творчество С.Н. стало своего рода легендой: известно, как много было написано, но почти не публиковалось при жизни автора. В мыслях С.Н. одной из важнейших была идея потаенного Града Китежа – невидимого, сокровенного мира высших духовных ценностей. Градом Китежом оказалась и большая часть творческого наследия самого С.Н.

Трудами знатоков творчества С.Н. Дурылина – Г.Е.Померанцевой, В.Ф. Тейдер, В.Н.Тороповой – в последние годы были подготовлены к изданию важные труды: книга о М.В.Нестерове; записи глубоких раздумий, близких по форме розановским «Опавшим листьям», – «В своем углу», частично – «В родном углу»...

Публикация «Сладости ангелов»[\[1\]](#)

станет одним из первых шагов в обретении художественного наследия С.Н.Дурылина. Это произведение, исполненное глубоких, напряженных духовных исканий, было написано в начале долгого периода гонений на Дурылина как священника и религиозного мыслителя: он пребывал в заключениях и ссылках до середины 1930-х годов. «Сладость ангелов», вероятно, написана во время пребывания во Владимирской тюрьме: там вместе с большой группой священнослужителей был заключен С.Н. и даже участвовал в тайных богослужениях.

Значительно место С.Н.Дурылина в русской литературе 20-го века: с публикацией его наследия его имя станет вровень с русской классикой.

I.

Архиерей служил всенощную, под Введение, в храмовый праздник, в слободке, в пяти верстах от города, и из-за распутицы согласился на предложение церковного старосты заночевать у него, так как утром должен был служить в слободке же позднюю обедню. С архиереем вместе пригласили ночевать и сослужившего ему архимандрита, которому было еще дальше ехать до своего монастыря, стоявшего за городом, в противоположной стороне от слободки. Церковный староста был ценитель хорошего истового пения, а архиерей Пахомий был известный знаток и любитель уставной службы, поэтому за всенощною пел архиерейский хор, и богослужение окончилось [2]

поздно. Архиерей отказывался от ужина. Худой и высокий, в вишневой шелковой рясе, с топазовой панагией, он [3]

долго не сдавался на усиленные просьбы старосты [4]

купца с золотой <медалью? [5]

> на аннинской ленте.

– Нет уж, вы, Потапий Васильевич, отведите меня поскорее на место упокоения, – разумеется, не окончательного, – пошутил Владыка. – Нужно готовиться к литургии, а вот отец Евфросин возглавит стол.

Он указал на архимандрита, стоявшего поодаль. Архимандрит, толстый, тяготящийся своей полнотою, еще не старый человек с добрыми серыми глазами, с небольшой бородкой и большой лысиной, отмахнулся рукою, а хозяин поспешил заметить:

– Его высокопреподобие своим чередом, архимандричьим, а вы, ваше преосвященство [6]

, своим путем, владычным. Не обессудьте. Единожды в году празднуем.

Он низко поклонился. Через раскрытые в зальцу двери был виден накрытый стол, обильно уставленный яствами, и толпа ожидавших ужина. Видно было, что заминка с архиерейским пришествием, затягивавшая начало и без того позднего ужина, была неприятна гостям и хозяину. <Влад>ыка [7]

, сообразив это, сделал шаг [8]

в зальце и сказал с усталостью:

– Видно, ничего с вами не поделаешь. Устал я очень.

– Претерпевый до конца – той спасется, ваше преосвященство, – пробасил из зальцы протодиакон, выступая навстречу к архиерею.

Архиерей ничего не ответил и прямо прошел к переднему углу. Протодиакон, откашлявшись в руку, зачитал молитвы. Архиерей благословил стол. Между архиереем и архимандритом посадили местного старожила, отставного генерала, у которого в слободке был дом, а под слободкой – имение. Генерал слыл любителем духовного чтения. Хозяин не садился за стол, а потчевал, сам накладывая на тарелки почетным гостям. Ели молча.

Генерал решил начать разговор, почитая неприличным молчание. Намазывая на хлеб икры, он улыбнулся и заметил:

– Вот вы, ваше преосвященство, признанный знаток устава...

– Полноте, – попытался остановить его архиерей [9]

.

– Нет, позвольте, ваше преосвященство, – прервал генерал. – Suum cuique [10]

. Я латыни не учился, но твердо это усвоил. Я вот к чему веду. Вкушаем мы у нашего любезного хозяина, между многими прочими, и сие яство, – он указал на икру, которую [11]

покрыл ломоть хлеба, – а, оказывается, и ему определено свое место в уставе [12]

. Все предусмотрено. Я всегда любопытствую: [13]

узнать в точности каждой вещи ее место. Привычка-с: то, что у нас, у военных, дисциплина, то у духовных – чин. «Вся по чину вам да бывают». Какое же место сему продукту отведено уставом [14]

?

– Да какое же место! – улыбнулся протодиакон. – Ешь во спасение. [15]

Архиерей сухо заметил:

– Действительно, в уставе указано, когда вкушается икра. [\[16\]](#)

– На наш, мирской взгляд выходит, – продолжал генерал, – и осетрина [\[17\]](#)

есть рыба, и икра есть рыба – устанавливается, таким образом, некое единство или тождество вкушения, – ан, нет: тождество по-мирскому, а по-духовному – различие.

– Ну, ваше превосходительство, – в третий раз прорвался протодиакон [\[18\]](#)

, – это и по-мирски различие глубокое: икра – это, так сказать, едение предварительное, а осетрина – в ней существенность есть.

За протодиаконом все так охотно и добродушно засмеялись, что и архиерей улыбнулся и сказал, обратившись к хозяину:

– Предложенное нам предварительное едение, как выразился о. протодиакон, столь обильно и так затянулось, что не признать ли нам в нем существенность и не ограничиться ли им одним?

– Чту вы, чту вы, ваше преосвященство, – возразил [\[19\]](#)

протодиакон, – помилуйте! Да ведь это все равно, как если бы одной литией ограничиться за всенощной, – без полиелея. Не по уставу.

Архиерей покорился тому [\[20\]](#)

, что ужин неотвратим, – и, обернувшись к архимандриту, который все молчал, заметил со вздохом:

– Вот, ваше высокопреподобие, что значит почитаться уставолюбцем: получаю здесь себе достойное возмездие – это [\[21\]](#)

уставное вкушение. Вам не грозит эта опасность.

Архимандрит сидел, не принимая участия в беседе и мало в нее вслушивался: он не любил обеденных разговоров и не умел их поддерживать, но слова архиерея ему были неприятны: он не понял, была ли это простая шутка или некоторый обличительный намек на многим неизвестную особенность архимандрита: он тяготился [\[22\]](#)

долгими службами, с трудом им выстаиваемых, и еще в академии был призван «гностиком» и «ересиархом» за свою любовь к богословскому отвлечению и философствованию. Они были далеки с архиереем, и молва даже преувеличивала дальность их отношений. Говорили, [23]

что ученый архимандрит был назначен настоятелем второклассного бедного монастыря под некоторый неявный полунadzор архиерея за то, что в магистерском сочинении своем отрицал будто бы вечность адских мук и почитал справедливость и правосудие Божие понятие более юридическим и даже не православным, а католическим. Утверждали, что архимандрит и в проповедях не раз будто бы учил, что Бог, любя безмерно творение Свое, принес иные Свои свойства в жертву любви Своей, – и делается ради любви к человеку как бы уже и не Богом. Заметили, что архимандрит никогда не произносил проповедей за архиерейскими служениями, тогда как при прежних архиереях проповедовали обычно архимандриты. Однако за доброту архимандрита любили в монастыре и в городе. Более строгие, тяготевшие к архиерею, прибавляли: «не за доброту, а за слабость».

– Если не грозит эта опасность, – ответил Евфросин, – то, значит, грозит какая-либо другая. Обычно так бывает. Это некий закон мира сего.

– Конечно, грозит, – встрепенулся генерал, – грозит опасность нашего ученого любопытства, которою мы частенько все досаждаем его высокопреподобию. Вот, например, любопытствуя о путешествиях апостола Павла, вычитал я в некоем ученом сочинении, что, когда апостол был в Писидии и Киликии...

И генерал зачастил именами из библейской археологии. Недовольный протоиерей шепнул своему соседу, молчаливому старичку благочинному:

– Ну, пошла теперь Киликия! А мы с вами лучше, о. протоиерей, вот эту жирную Киликию из чухонского моря отведаем, – и он, прицелившись издалека, ткнул вилок в коробку с кильками.

Архимандрит односложно отвечал генералу, видимо скучая.

– Совопросник вы, ваше превосходительство, – усмехнулся архиерей, вслушиваясь в неотвязные вопросы генерала и короткие, суховатые ответы Евфросина.

– Любопытен, действительно, о многом, – отвечал генерал и, откинувшись на спинку стула, хотел что-то сказать, но заметил, что около архиерея стоит старичок в длинном старом сюртуке и кланяется. – Владыка, вас спрашивают.

Архиерей обернулся. Старичок, низко склонившись, подошел под благословение.

– А, Иван Архипыч, раб Божий, – сказал архиерей с видимым удовольствием.
– Добрый вечер. Чту опоздал?

– Храм запирал, ваше преосвященство. Облачения складывал.

– Садись, Архипыч. Вон твое место, – сказал хозяин. – Не занято. Нагоняй, что до тебя вкусили.

Но старичок кланялся архиерею и протягивал ему серебряную церковную тарелочку с двумя хлебцами.

– Это, ваше преосвященство, благословенные хлебы. Простите, вовремя не подал: к началу трапезы не поспел. Не прогневайтесь.

Архиерей принял тарелочку и поставил на стол перед собою, – и еще раз благословил псаломщика.

– И еще погрешил, ваше преосвященство: сильно погрешил, – простите Христа ради.

– А чту такое, – сказал владыка, и что-то ласковое и умиленное прошло по его строгому, худому лицу. – Да ты сядь, Иван Архипыч, на свое место, кушай и кайся, в чем еще погрешил.

Старичок-псаломщик поклонился и сел за стол.

– Ну, в чем же погрешил? – с улыбкой приставал архиерей.

– Сами небось изволили заметить, ваше преосвященство.

– Заметил, заметил. Не тот на «Светильне» – «Богородичен» спел: погрешил зело против устава.

– Погрешил, владыка: надо было Богородичен праздника, а я из октоиха спел «дне» «Сладость ангелов».

– Верно: «Богородичен» перепутал, – закивал архиерей, – а я на него надеялся: поручил левому клиросу «Светилен», а не своим поющим и вопиющим. А он подвел меня. Придется на поклоны ставить. Стою в алтаре, жду светильни Введенскою, и вдруг слышу: «Сладость ангелов, скорбящих радость, христиан предстательнице, Дево Мати Господня».

Архиерей обернулся к архимандриту:

– И до чего мне было сладостно, что он ошибся и «Сладость ангелов» запел. Признаюсь, порадовался, что он устав нарушил. Не взывайте, ваше превосходительство, – кивнул владыка генералу, – это ведь, по-вашему, будет нарушение дисциплины?

– Нарушение, ваше преосвященство.

– Да-да, – и вот все-таки я его на поклоны не поставлю, как хотите, а перепутай он и спой не «Сладость ангелов», а что-нибудь другое, может быть, и поставил бы. Поставил бы, Архипыч, а? Чту бы ты тогда стал делать? – улыбнулся архиерей псаломщику.

– Постоял бы, ваше преосвященство.

– Приидите – поклонимся, – вставил протодиакон.

– А потому, ваше превосходительство, что я эту «Сладость ангелов» с детства, с самого раннего, особенно люблю, и, должно быть, ты хитрый человек, Архипыч: как ты это узнал, эту единственную, кажется, ошибку в уставе я готов кому угодно простить?..

– Какой он, ваше преосвященство, хитрый, – заметил хозяин, – самый он простой человек: семью прокормить на свой страх не может. Божья овца на Божьем корму.

– Не соглашусь с вами, Потапий Васильевич: не только хитрый, но и хитрейший он человек: не только спел мне «Сладость ангелов», но и принес эту сладость сюда. Вот она передо мной лежит на серебряном блюде.

Владыка указал на благословенные хлебцы.

Архимандрит с любопытством взглянул на него с каким-то внутренним, обращенным к нему вопросом, столь явным на открытом полном [\[24\]](#)

лице, что архиерей и этот взгляд заметил и вопрос этот прочел.

– Не понимаете, ваше высокопреподобие? Вы ведь не из нашего брата, не из поповичей?

– Я из купцов.

– Значит, понять вам все-таки легче: купец к попу всегда ближе дворянина стоял. Простите, ваше превосходительство, – обернулся на мгновение архиерей к генералу, – я не в осуждение. Я только то хочу сказать, что с детства я не могу без слез слов этих слышать «Сладость ангелов». Еще в детстве сердце при этих словах трепетало. И я это биение за единственное доброе дело своей жизни почитаю. И вот услышал я сегодня «Сладость ангелов» – и все детство предо мною встало. Шел я сюда, в эту витальницу, и думал: «Неужели и дальше будет, как в детстве было?» И я «Сладость ангелов» не только услышу, но и увижу? И вот, действительно, и увидел.

Никто не понимал, о чем говорил архиерей; впрочем, генерал [\[25\]](#)

из почтения делал вид, что оценил признания архиерея и глубоко ими заинтересован. Архимандрит отклонил усердно подставляемое ему хозяином блюдо с разварной рыбой и внимательно слушал архиерея. Слушал и Архипыч на конце стола.

Архиерей полуобернулся к о. Евфросину и говорил, придерживая рукой панагию:

– Далекое-далекое детство вспоминается, ваше высокопреподобие. А все через него, – он [\[26\]](#)

кивнул на Архипыча. – Мой отец был псаломщик из самых обыкновенных, из бедного сельского прихода и, как водится, из многосемейных. Где именем пусто, там ребятами густо. Хлеб насущный был у нас – именно насущный: на сутки всегда было, а на другие – только предполагался.

– Довлеет дневи злоба его, – густо шепотнул протодиакон благочинному.

– Отец был слабогрудый, кашлял, и голос неважный, но устав знал отлично и благоговееен был воистину. В некоторые праздники, особенно в богородичные, помню, он точно болен делался от радости: поет и поет, бывало, целый день стихиры и ирмосы – и по приходу ходит с батюшкой, – а все поет, даже батюшке надоест. «Какой ты, скажет, Иван Евстигнеев, неупеваемый: мало тебе храма Божия – никак упеться не можешь!» – «Не могу, отец Евлампий, – ответит. – Пою Богу моему дондеже [\[27\]](#)

есмь».

Я маленький еще был – и перенял у него эту охоту к пению, и уставу, и благообразию церковному. И вот что замечательно: мы, поповичи, служим Богу верою и правдою, – чту бы наши недоброжелатели ни говорили, – но, признаться без суда, – тбк к алтарю и святым привыкаем, что мним там, в алтаре, не Божию, а своему дому бымти, поповке нашей. А мой родитель покойный нас, мальчиков, даже в алтарь не пускал: сам прислуживал с благоговением, – и ежели у меня, недостойного, есть страх Божий к алтарю Господню, то он весь отселе. Стою, бывало, малолетком – и на алтарь взираю со страхом радостным. «Что там, тятенька?» – спрошу отца. «Там ангельское, – скажет, – место. Престол Божий. Стань дубр». – «А ангелы, – спрошу, – там живут?» – «Обитают и Господу служат непрестанно». И вот, в какой-то блаженный день впервые услышал я душою «Сладость ангелов», светилен [\[28\]](#)

обычный октоиха, – и затрепетало мое сердце. И все мне стало ясно: ангелы служат там, в алтаре, и подается им некая «сладость ангелов». Ваше высокопреподобие! Знаю теперь, что под «сладостью ангелов» Богородица разумеется, но до чего сладостно это детское богословие!

– Оно не только сладостно, оно, может быть, и наиболее истинно, владыка, – тихо, почти не слышно для других сказал архимандрит.

– Не знаю, не знаю, ваше высокопреподобие. Это вот Архипыч меня к детскому богословию вернул. Спаси его Господь. С него взывайте. А я уж доскажу, что начал. Стою, бывало, в храме – и трепещу детским правым сердцем: чту там деется за таинственной завесой алтарной? «Сладость ангелов»

совершается. И слезами тихими и благовоными незримо орошается душа. И не высохли, должно быть, до сих пор эти слезы.

– И не высохнут – и не дай Бог, чтобы высохли, – еще тише произнес [\[29\]](#)

архимандрит.

– А начнутся, зимнее дело, всенощные. Нас не брал отец, младших, в церковь: холодно, не топлено в ней, и идти далеко – мы ждем, когда отец вернется ото всенощной, на печке лежим [\[30\]](#)

в тепле. На ужин мать даст по куску хлеба и по картофелине печеной – голодно. А родитель входит и из платка вынет благословенный хлеб, простой, из муки серой, несеяной, но такой вот прекрасный, что лежит передо мной, маленький, скудный, – но для детского богословия это не благословенный хлеб был, это сама сладость ангелов чистейшая была – и вкусишь ее с радостью, со счастьем несомненным, – и уснешь спокойно, и сыт, и весел, и счастлив. И в самых снах была – сладость ангелов. И там, на печке – уповаю – ангельское было тогда место.

Архиерей замолчал, поникнув в коротком раздумье. Он преодолел его, отер платком лицо и шутливо обратился к генералу:

– Ну, как же вы, ваше превосходительство, хотите, чтобы я его на поклоны поставил за нарушение устава?

– Придется отменить взыскание, ваше преосвященство, – поддержал тон генерал.

– Придется, придется.

Хозяин воспользовался видимым концом архиерейского рассказа и стал усиленно потчевать жареной белугой с нежинскими огурцами.

Ужин подходил к концу, когда архимандрит сказал для всех неожиданно и с видимым волнением:

– Вы не можете себе представить, владыка, как мне близок ваш рассказ, и вот вы все изволили винить здешнего псаломщика в ваших воспоминаниях, а мне придется винить вас, ваше преосвященство, что и мне нечто вспомнулось, и не удержусь рассказать нечто в двух словах, если вы примете на себя вину, как, по-видимому, принимает на себя Иван Архипович.

– Придется принять, ваше преосвященство, – с некоторым задором поддержал генерал.

– Видно, придется, – согласился архиерей.

– В рассказе его преосвященства, – начал отец Ефросин, – вот что меня больше всего поражает: «детское богословие», как прекрасно выразился владыка, извлекает Божественное из самого простого и ангелов видит там, где воистину они суть, но никому не зримы и недоступны, кроме как действующим богословам, тема которых, по слову Спасителя, и «есть царство Небесное». Нечто сходствующее из своего «детского богословия» я и хочу рассказать в дополнение к словам Владыки. Хлеб насущный у меня был в детстве в таком изобилии, что довольно его не на сутки, а на полный годовой круг. Я из богатой купеческой семьи, и если б сказали мне, что есть такие мальчики, которым на ужин дают ломоть хлеба с картофелиной, – я бы не поверил. Но я не богатство это вспоминаю, а корочку хлеба, простого, ржаного. Помню, я забежал на кухню, взял у старшей поварихи Марии Петровны ломоть большой черного хлеба, не с нашей купеческой мелкой, а с их «людской» крутой солью – я проголодался, – и побежал в сад, на ходу жуя, и вдруг увидал, что брат завладел моими красками и рисует солдатиков. Я стал вырывать у него краски. Он был ловчей меня и убежал с красками. А я рассердился, впал в гнев – и бросил хлеб на землю и стал топтать ногами, со злостью. «Что ты делаешь, баринушка? – вдруг слышу над собой. – Хлеб ангел Божий сеял, ангел дождем поил, ангел в

житнице хранил, – а ты ногами, милый, попираешь». Это Арина надо мной стояла, черная, «людская» кухарка. Я остановился, и слезы осеклись. – «Как ангел сеял?» – спрашиваю. – «А так, незримо». – «А мужик?» – «А мужик только семена бросал». – «А кто ангела видел?» – «А кто свят; кто ангельский хлеб ест». – «А какой ангельский?» – «А животный». И вот до тоски – до первой сердечной тоски, – захотелось мне тогда ангельского хлеба. У меня дружба оттуда пошла с Ариной, хоть ничего больше непонятого ей слова «животный» она мне сказать не умела. Подошла страстная неделя, – я и узнал, что такое ангельский хлеб. Дворников сын, Васька, тайный мой друг; явно нам не позволяли с ним видеться, сказал мне: «А Арина с Великого понедельника по Свят день есть ничего не будет, кроме просфоры». – «Как не будет?» Ужас на меня напал: семь дней не есть! – «Не будет». Я не поверил. Я стал подсматривать за Ариной: не ест. И лукавство детское в ход пустил: подаю ей раз калачика, намазанного икрой [\[31\]](#)

, и угощаю, а она мне: «Кушай сам, соколик. Спасибо на ласковом слове». – «А ты съешь!» – «Не могу, милый». – «Отчего?» – «Оттого, что тогда на Великий день ангельского хлеба не дадут». – «А кому его дадут?» – «Кто Богу постился». – «А мне дадут?» – «Как тебе, младенцу, не дать!» И погладила меня заскорузлой рукой по голове. Ушла от меня, а я ее догнал и спрашиваю: «А когда будут давать?» – «Сам увидишь», – и улыбнулась.

А Васька мне приносил все более и более чудесные вести: под Великий четверг, как начать Арине пасхи и куличи готовить, она на погребу [\[32\]](#)

, одна на ранней заре ключевой водой окатилась и долго поклоны клала. Все эти дни только святую воду пила. А в Великую субботу она пришла от ранней обедни, в новом платье, тихая, счастливая, увидал я ее и по лицу узнал, что она ангельский хлеб ела: «сладость ангелов» на лице ее была, определю это по вашему детскому богословию, владыка. Я и спросить ее боялся; но залучил ее как-то в темном уголку и тихо спросил: «Арина, ты ела сегодня ангельский хлеб?» – «Вкусила, милый». И еще тоже, совсем уже тихо, прибавил: «И мне дадут? Я пощусь». – «Дадут, милый. Завтра дадут». И я решил ждать ангельского хлеба. Я не хотел ничего есть: я боялся, что мне его иначе не дадут. Мама заметила, что я ничего не ел за столом. «Что ты сегодня, Женя, не ешь ничего? Заболеваешь, что ли? Вот будет беда к празднику». – «Нет, я здоров. Я ем». К светлой заутрени меня не брали: боялись тесноты, а за поздней обедней приобщали Св. тайн. И ощутил я

сердцем детским впервые до глубины души, что вкусил «хлеба ангельского» – воистину «сладость ангелов» была во мне. Кто же мне открыл впервые и навсегда эту сладость поста, эту радость вечного хлеба ангельского? Кто сумел мне все объяснить двумя словами? Неграмотная, «людская» Арина. Простите, [\[33\]](#)

владыка, за неуместное многоречие, но, право, сами вы причиной, что ваша «сладость ангелов» напомнила мне мой «хлеб ангельский». Погрешительно было так долго говорить, но, может быть, погрешительнее было бы вовсе умолчать. Еще раз простите.

Архиерей ничего не ответил, взял один из благословенных хлебов и подал архимандриту:

– Вот вам в дальнейшем подобие хлеба ангельского, по изъяснению нашего с вами детского богословия.

И, обратившись к присутствующим, сказал громко и как-то весело:

– Вы простите нас с его высокопреподобием. Вижу себе и ему оправдание только в одном: по уставу полагалось бы за трапезой чтение минейное – я сделал упущение, – и такого чтения не было, но все-таки, мню, нечто душе-не-бесполезное здесь было предложено не нами, а теми, кто в простоте сердца предложил нам это не-бесполезное во дни нашего младенчества. Час уж поздний, и нам с о. Евфросином пора на покой. Отец протодиакон, прочтите молитву.

Все поднялись [\[34\]](#)

из-за стола.

II .

Архиерею на ночлег была отведена одна комната с архимандритом. Он сильно устал, быстро снял рясу – и в одном подряснике сел в глубокое кресло, покрытое старым турецким ковром.

– Располагайтесь, о. архимандрит, где удобнее: на кровати или на диване.

– Мне безразлично.

– И мне. При безразличии же вступает в права случайность. Вы случайно сейчас находитесь около дивана, я – ближе к кровати. Так и поживать там. Ужин после всенощной собственно для нашего брата есть преступление, вернее, себянежаление. Ужинная повинность – одна [\[35\]](#)

из самых тяжелых, и душевное беспокойство после нее является, по крайней мере у меня. Однако разболтался я некстати.

– Мое «некстати» больше вашего, владыка.

Архиерей отозвался с особым оживлением:

– Ну, что там. Не разберешь, чту кстати, чту некстати! Устав, вот видите, и в церкви не всегда удастся соблюсти, при всем желании. А я еще и «некстати» свое хочу продолжить. Правила все на утро отложу, кроме вечерних молитв, а вам хочу один вопрос задать, совсем «некстати», а вы можете на него и не отвечать, если не захотите.

Архимандрит, поправлявший подушки на предназначенном ему диване, с удивлением обернулся, стоя подле дивана.

– Я хочу вас спросить – опять-таки говорю: некстати, – правду ли про вас говорят, что вы, когда назначены в Кругоборск были, где древлехранилище знаменитое, икону Оригена отыскивали, и будто нашли, и молились на нее, а потом оказалось, что это не Ориген, а Григорий Богослов?

– Нет, неправда.

– А я от духовных лиц, причастных археологии, слышал, и даже вам сказать могу, как дело было: будто нашли икону темную, черную, – какого-то там давнего века: я в этом ничего не понимаю, – и на ней святой трудно различимый, и греческое надписание у бгйпт – это ясно, а другие остались только буквы: п, с, г, п, т, и вы из них вывели, что это јсйгзпнт, – уж очень вам

Оригенову икону найти хотелось, чтобы его из еретиков сразу в святые повесить.

– Ориген никогда не был признаваем за еретика.

– Ну, за полуеретика. И лампаду будто зажгли и молились.

– Ложь.

– А потом оказалось, что из греческих букв слагается вовсе не јсйгзппт, а Гсйгсьппт, не еретик, а великий [\[36\]](#)

вселенский учитель и святитель Григорий Богослов. И вот только что не сходятся в одном: лампаду-то вам пожелалось загасить – или оставили: кто говорит, оставили: это кто подбробнее, – а кто позлее: те говорят: загасили: не хотели, чтобы перед столпом догматов горела.

Архимандрит, стоя неподвижно, усмехнулся и спросил с некоторою горечью:

– Позвольте, владыка, уж и я буду некстати спрашивать: а вы верите этому сами?

– Нет, не верю, – спокойно ответил архиерей. – Оттого я спрашиваю, что не верю. Уж слишком глупо.

– По-моему, не глупо, а злустно.

– Злость всегда глупа, а вернее, глупость зла. Повторяю: не верю.

– Это все не могут мне простить мою книгу.

– Не читал.

– Я знаю, что не читали.

– Оттого, думаете, и спрашиваю? Не оттого. И не совсем верите, что не читал: не читал, действительно, но с содержанием знаком, т.е. с мыслью с основною, с самыми крепкими местами сочинения, а их ведь в каждом всегда не много: одно, два.

– И находите, что после моей книги, или ее основной мысли, что все равно, можно начать поиски Оригеновой иконы и, найдя, лампаду перед ней зажечь?

– Нет, не то нахожу. В вашей книге много детского богословия, вот того самого, о котором сегодня мы с вами оба некстати много говорили за ужином, а детское богословие и Ориген не одно и то же.

– И какую же главную мысль моей книги вы нашли?

– И детское богословие всегда пахнет Оригеном для тех, в ком или никогда этого богословия не было, или оно задавлено Яшкой...

Архимандрит низко склонил голову, помолчал и тихо молвил:

– Не понимаю.

– Яшку не понимаете? Очень просто. Старец один мне так говорил, чистейшей жизни был и высочайшего детского богословия весь преисполнен. Яшкой он наше «я» пресловутое называл, философствующее, богословствующее, самоутверждающееся, самочинное. «Яшка», – говорил, – на последнем должен стоять месте, «я» – последняя буква в азбуке», – а у нас Яшка на первое место забрался и все другие буквы вытеснил и зачеркнул. В детском богословии вовсе Яшки нет: там не Яшка, там Ангел богословствует и предлагает нам снедь «ангелов сладость». В духовную снедь, не только в телесную. Яшка же умник известный: он нас с вами непременно бы поправил и объяснил бы нам, что вы – под «хлебом ангельским», а я под «сладостью ангелов» совсем не то, что надо, разумели, и даже оба в ересь впали. Какую – он бы нашел, он в канонах начитан. Это он лампадку Оригенову у вас увидал; он на это зорек.

– Что же он прочитал в моей книге – этот Яшка ваш любопытный, – улыбнулся архимандрит, – и действительно, к сожалению, существующий?

– Прочитал то же, чту и все: то, чту там напечатано, но понял-то по-яшкину. Вы ведь о чем там писали? О Любви Божественной Господа нашего Исуса Христа, о некотором тончайшем, правда, на наш слепой человеческий взгляд, как бы поглощении любвию всех иных свойств Божиих, – поглощении жертвенном, голгофском, распинательном, ни для кого, кроме Сына Божия, недоступном и нисколько Ипостаси Божией и всей полноты свойств Божиих не колеблющем? – и в этом тончайшем и неопределимом почти поглощении жертвенном вы, сколько могу судить, и видите то же, чту Апостол любви увидел, когда всю полноту свойств Божиих свел к одной Любви, определив на все времена: «БОГ ЛЮБЫ [\[37\]](#)

есть». О сем вы писали? Не ошибаюсь я? Тогда поправьте.

– Об этом.

– А любовь Божия в детском только богословии раскрывается, а для Яшкина богословия она не существует, и, где ее Яшка учует, – там сейчас же Оригена найдет, – и анафема!

– Я не знал, что вы так думаете? – воскликнул архимандрит. Он в волнении заходил по комнате.

– А я не знал, и не узнал бы, если бы не сегодняшнее отступление от устава, что вы так некстати можете говорить, как за ужином говорили, – рассмеялся архиерей. – Я ведь книги-то вашей все-таки не читал. Но я про Яшку доскажу. Яшка ведь кбк богословствует? Он портной ведь, Яшка-то, и скверный портной: сошьет платье на все мирозданье – и рад, а платье сшито скверно, не по росту, жмет и коробит отовсюду, обузит Яшка – и где ему шить? Он ведь косою и левша, все мерки переврет, – и не замечает, что платье рвется по швам, и никуда не годно. Он и на милость Божию и на Любовь Божию свое платье сшил, и все обузил, – и что под его платьем не уместается и рвет его по швам, Любовь Христова, широкая и милующая, – то все у него Ориген.

– Значит, хорошо, что за ужином, при нашем детском богословствовании вашего Яшки не было? – засмеялся в свою очередь архимандрит.

– Хорошо. Оттого мы некстати и разговорились, что его не было. А книгу всякий Яшка может купить.

– Вы ведь отлично кончили Академию. Я всегда не понимал, почему вы не писали магистерской.

– Оттого, что не хотел, чтобы Яшка ее читал и рецензии на нее писал.

– Оттого вы и с философии перешли на устав?

– Оттого. Яшке до устава дела нет. Там «я» последняя буква в азбуке, как мой старец говорил.

– Значит, я неправильно поступил, что написал свою книгу?

– Неправильно. Не надо писать книг. Детское богословие в книгах не выразить, потому что Яшка все книги испортит.

– А в чем же выразить детское богословие?

– В богослужении, в молитве, в разных благих житейских «некстати». Там Яшке делать нечего. Да и вы после своей книги что-то ничего не писали. Ни одной строчки вашей нигде не видно.

– Яшки боюсь, – усмехнулся архимандрит с видимой горечью.

– Пошло у нас на вопросы некстати. – Небось, и меня за Яшку считали? – спросил архиерей, вставая с кресла.

– Считал, признаюсь.

– Какой я Яшка! Я не Яшка, я – Пахомий, – я Яшки терпеть не могу.

– Теперь вижу. И знаете, ваше преосвященство, я ведь очень тосковал, – все продолжаю свое «некстати», – что никак и нигде без Яшек говорить и писать нельзя.

– Я уж привык, – ответил архиерей. – И вы привыкнете. Или уставом займетесь – и Яшку туда не пускайте.

– Не могу привыкнуть. Вот время сейчас позднее, – архимандрит посмотрел на архиерейские часы, положенные на ночной столик. – Первый час в исходе. А без Яшки меня тянет к детскому богословствованию. Я очень изголодался.

– Да ведь ужинали только что! – пошутил архиерей. – Я прилягу. А вы говорите. Ничего. Все у нас пошло некстати. Стоило только раз устав нарушить – и дальше пойдут все нарушения. Говорите. Яшки в комнатах нет.

Архиерей, скинув сапоги, лег на постель, а архимандрит ходил из угла в угол, грузно ступая. Он садился на кресле, вставал, вновь садился, опять вставал и ходил, потом подошел к кровати [\[38\]](#)

и сел в ногах архиерея.

– У меня тоска бывает. Но я не о ней буду говорить. А еще хочу вспомнить без Яшки страничку своего детского богословия. Я-то уж был тогда не тот мальчик, которому Арина о хлебе ангельском поведывала. Позади были годы младенчества, отрочества, гимназического учения. Я был студент, и мой собственный «Яшка» был очень важный господин, снабженный всеми отрицаниями, полагающимися по штату русскому интеллигенту, как удостоверение его зрелости. В Бога я не верил – до скуки, до пустоты какой-то не верил. Я заметил, что разные неверия бывают...

– Фомино похваляется, – вставил архиерей.

– Мое было не Фомино. Холодом каким-то дрожала душа в пустоте. Вражды к Богу не было, но все без Него, все без Него было в душе, в мире, в природе, в самом бытии, – и все без цвета, без сути какой-то, без запаха, без вкуса. Все на своем как будто месте, – но надо всем какая-то невидимая дыра, в которую уплывает все тепло бытия.

– Кбк, кбк? – привстал архиерей на постели. – Тепло бытия? Пожалуй, что так. Только вычурно сказали. В безбожии этого-то

и нет, все есть, а этого нет. 3 градуса морозу. И дров нет, на топку. Ничем не нагонишь тепла. Без тепла жизни нет.

– У меня и не было жизни. Жил я с няней, старой-престарой. Отец умер, и мать умерла. Состоянием нашим управлял холостяк-дядя, наш крестный, а мы с братом и были рады: он у меня географ, и экспедицию сменял на экспедицию. Я философствовал, а няня меня кормила обедами, поила чаем, – день и ночь я его пил и за ним просиживал целые ночи, а она дремала, и все сидела подле меня с чулком, никому не нужным, а под шипенье самовара и нянину зевоту – о, какая мудрая, вижу теперь, была эта зевота! [\[39\]](#)

– я читал разных отрицателей, – кого и чего я не читал! Няня уйдет, бывало, махнув на меня рукой: «Ну тебя, тебя не пересидишь!», ляжет спать, – а я один, с самоваром, тоскую. Я ведь отрицателям этим никому не верил и, в сущности, их терпеть не мог, я читал их потому, что в пустоте все мысли [\[40\]](#)

их у себя находил: их ведь немного, этих мыслей. Они как пыль: душа давно была ими запылена. Я целую ночь ходил из угла в угол по комнате, – и зажмурю глаза, бывало, и в темноте внутренне и внешне хожу. А самовар допевает, допевает – и он был самое доброе и живое, что было около меня тогда. Он замолкнет, и тогда совсем мне худо. У меня был давно уж куплен револьвер. Он лежал в письменном столе. Но он мне был, в сущности, не нужен. Я мог бы убить себя, но мне нельзя себя было убить: меня не было.

– Не понимаю, – сказал архиерей.

– И Бога-то оттого у меня не было, что меня самого не было. Я растерял себя. В чем же Ему было быть во мне, когда я – раздробился, разделился на отдельные дроби какие-то, бесконечные и неправильные, и весь ушел в пустоту. Не в пустоте же Ему быть.

– Значит, даже и Яшки своего у вас не было?

– Не было.

– Плохо дело: он хоть и разбойник, но все-таки, ежели на своем месте, то нужен [\[41\]](#)

: он бытие наше свидетельствует.

– Вот-вот! – обрадовался архимандрит. – Поняли: я не имел свидетельства о собственном своем бытии: самовар был реальнее меня. Он все-таки пел и шумел, и няня его ставила, и в нем был жар, некая его онтология. А у меня ее не было. И стреляться мне было глупо: умнее было бы в самовар выстрелить: он больше моего существовал.

– Стреляться всегда глупо, – сказал архиерей. – К шуту – не к ночи будь помянут – можно и без стрелянья отправиться.

– Однажды, только однажды, – с какою-то тоскою, почти не слышав слов архиерея, продолжал Евфросин, – я схватился за револьвер: я в то время уже забросил книги и только пил свой чай и выхаживал все ночи напролет – в какой-то холодной дрожи, – и улыбнулся мысли этой: застрелиться мне, не существующему? – да ведь для этого надо сначала существовать. Мне казалось: я выстрелю себе в грудь, и пуля пройдет, куда надо, а я останусь жив – потому что грудь моя сама по себе, а я сам по себе, – «я», т.е. все остальное, что не грудь; я прострелю себе ладонь, в ней будет боль, будто дыры, а все остальное во мне не будет даже знать об этой боли, потому что общего и цельного во мне даже и были быть не могло: я и болью и кровью своей не мог бы доказать себе, что я существую. И «я» человеческое, существующее, и Бог – они живут в человеке, а не в кусочках человека. На цельного же человека меня не хватало.

– Не хватало! – опять прервал архиерей. – Вы очень темно говорите. [\[42\]](#)

Но ничего, я пойму. На человека не хватало. Это страшно, хоть и темно.

– И вот в эту ночь я дома уж ходить не мог. Гнало меня что-то вон. Я оделся и вышел из дому. Я исходил город вдоль и поперек; иногда ловил себя на том, что несколько раз возвращаюсь на одну и ту же улицу. Уйду – и вновь вернусь. Но к утру я, помню, очутился на окраине города, почти за городом. Серенький осенний день начинался. Заря брезжила. Пели петухи. Я очень озяб и проголодался. Набрел на какую-то ночную харчевню, ее запирать хотели: было уж очень поздно, и народ выгоняли. Было в ней сильно накурено и надышано за ночь, – и водкой пахло. Водку терпеть не могу. Я сунулся было: хотел что-нибудь поесть, но стало противно, голова закружилась. Я вышел – в харчевне вслед засмеялись: за пьяного сочли. И побрел дальше, совсем за город. Роса лежала на траве, седая, холодная, крупная. Я шел по лугу. Еще, когда в слободке был, я будто звон слышал. У нас под городом монастырь известный, гогуновских времен. Я и забрел в

него: хотел купить просфор, есть очень хотелось: я вспомнил, что целый день не ел. Вошел в Св. ворота; просфоры в окошке в самых воротах продавали. Я с детства это помнил и очень любил есть просфорку с чаем, невынутую.

– Вот-вот, – отозвался архиерей. – За десять копеек, толстую, как протопопица, – румяную.

– Постучал в окошко – монах открыл заслонку, старый, борода с зеленью «аки козмона», как в иконописных подлинниках говорится, значит, небольшая – и не дал мне слова сказать: «Просфорочку, – говорит, – желаете? Удались сегодня просфоры. Святой великомученик Димитрий, его же память ныне совершаем, помог. С румянцем. К обедне успеете. Ничего, что отзвонили. Сегодня служит отец Памва; он медлителен. Успеете еще вынуть до “Херувимской”». Подает мне просфоры, в бумажке, и еще подает просфоры: «А это тебе, раб Божий, послушание. Я все поджидал: кого Бог пошлет? Тебя послал. Сии просфоры на обедню ты подай. Грех случился: я не приметил, как о. Питирим, сожитель [\[43\]](#)

мой, ушел, и просфоры с ним в церковь не послал, а мне уж год как заказано вечное поминовение за «в неведении сущих и себе спасения не ищущих»...

– Опять детское богословие пошло! – прервал архиерей. Такого поминовения ни в каких последованиях [\[44\]](#)

не указано!

– Вот, я беру просфоры – и свои, и эти, – протягиваю за свои деньги, а монах не берет: – «И не возьму, – говорит, – а еще тебе в ножки поклонюсь, что на обедню отнесешь. Тебя сам Бог принес. Я все сердце себе расстроил: отойти из просфорни не могу, послать нйкого, – а как их без молитвы оставить...» – «Кого?» – «Тех, кто сам себе молитвы не желает и спасения не ищет и без Спасяющего живет. А частицы вынут – и сии, сии не молящиеся, как бы ликами своими пред Агнцем кротким предстанут и с Ним на дискосе возлежать будут, как на вечери, и кровию Его честною омоются. Поди, раб Божий, в Церковь, поди, подай, помолись за сих немолящихся. Тебя Господь за них спасет». – И взял я просфоры и понес в Церковь. А сам не знаю, как вынимают. Достал [\[45\]](#)

из бумажки свою просфору, хотел съесть по дороге в собор, смотрю: на верхушке Богородица выпечена – и так аккуратнo, так хорошо, точно икона из кипариса вырезана. Неловко даже есть. Я низук у просфоры отнял, но

весь аппетит пропал. Вспомнилась харчевня пьяная – как я там есть хотел. Нет, не могу есть. И вспомнил я, смотря на эту Богородицу на просфоре, – вспомнил я... [46]

– Хлеб ангельский?

– Да, его, детский мой «хлеб ангельский», – и Арину «людскую» и как я его принимал тогда, тихий мальчик, и ту счастье мое, и истину какую-то, несомненно меня тогда живъвшую. Ведь я же тогда жил, я же не завидовал тогда самовару, что он живее меня, – и гдй же все это? Я ли перестал быть – или... или я забыл что-то, только забыл живъвшее меня, и могу вспомнить и, если вспомню, буду опять жить. Тогда я был Женя; это Женя принимал хлеб ангельский, – но он, мальчик Женя в синей шелковой рубашке, беседовавший с Ариной, тайком постившийся и знавший какую-то тайну, которую я не знаю, а ей имя: жизнь, – он я ли? Я, вот на паперти глупо держащий просфоры в руках и не знающий, что с ними делать? – или я уже – совсем, совсем другой, не он – и Жйнина во мне уже ничего нет, ни кровинки в теле, ни волосика на голове, ничего, ничего? Нет, я – не другой, – вернее: я – и другой, но я – и Женя: другой, потому что не живу, а он жил, но я и Женя: иначе как же бы я помнил о Женином «хлебе ангельском», об этой его истине и святине? Ведь ее знал только Женя, ведь «хлеб ангельский» был только у Жени, – это все не мое, это Женино, но это и во мне, это я помню, это я вспоминаю. Помню! Вспоминаю! Чту же это? Чйм же, чйм же я помню? Чем-то, очевидно, Жйниным, а не моим, чту еще осталось во мне от Жени, что и мое и его вместе, потому что оно во мне, все-таки во мне. Между мной и Женей есть некая ниточка – тонкая, о, совсем тонкая! – но если бы ее не было, я не вспомнил бы Жйнина «хлеба ангельского». Эта ниточка – память. О, это ясно! Но чту она? Наука мне говорит, и она права, что во мне все новое: ни кровинки от Жени не осталось: и кожа, и волосы, и мозг – все новое, значит, не это все помнит о Женином «ангельском хлебе», которым он жил. Чту же это Помнящее во мне, – хранящее в себе «хлеб ангельский»? Безумный, безумный: кбк же я не понимаю этого? – да ведь это так просто – это – моя бессмертная душа. Она одна, – только она, – одна у

меня с Женей. Она – это я, и это – Женя. А у Жени был хлеб ангельский, у Жени был Бог. Значит, и у меня...

Я не смел думать дальше. Как хорошо! Я не верил, что может быть так хорошо. И вдруг я заметил, что я все еще стою на паперти у дверей собора с просфорами. «Да, я должен их вынуть. За кого же? Вынимают всегда за кого-нибудь». И я с ужасом заметил, что я забыл, за кого мне монах велел вынуть просфоры. Из собора доносилось пение. Я не знал, что поют, не понимал, что, должно быть, ужасно поздно. «Женя должен знать, за кого вынимают. Он мне подскажет», – подумал я. Я вошел в собор.

Я подошел к монахам, певшим на клиросе и протянул просфоры. «Чуть-чуть не опоздали. Херувимская начинается, – сказал мне пожилой монах. – За кого вынуть? Записка есть?» – «Нет». – «Ну, на словах можно». И Женя, правдивый Женя, подсказал мне: «за неверующих». – «За неверующих нельзя, – строго сказал монах, как будто даже обидевшись. – За всех православных христиан можно».

– Яшкин перевод! – воскликнул архиерей. – Без Яшки не обойдешься. И тут поспел! Переводчик!

И мне вынули просфоры, и монаховы, и мои. Я отнес просфоры монаху, а свои понес домой. Я дал их няне. «Обрадованный мой! – всплеснула она руками. – Да никак ты у обедни был?» – «Женя был, няня». – «Нбко, скушай, скушай скорее хлебца ангельского. Ведь ты не ел ничего?» – «Ничего, няня». – И она мне дала просфорку, а я ее унес к себе в кабинет, а там я плакал над ней, как Женя.

Архимандрит замолчал.

– Нет, с вами не улежъшь, – сказал архиерей и встал с постели и прошелся по комнате, потирая руки. – Говорите дальше.

– Все сказал, владыка, – отозвался не сразу отец Евфросин. – Я ведь хотел прочесть вам только одну страницу из своего

детского богословия.

– А дальше?

– А дальше пошла уже страница за страницей, и целая книга набралась. Но это долго читать, да и не нужно. Ведь вы вот из моей писаной книги только одну страницу прочли – и все верно поняли. Да и поздно. Я не умею хорошо говорить. Интеллигентская привычка.

Архимандрит перешел к своему дивану.

– Поздно, т. е. ложитесь, ваше преосвященство! Это вы хотели сказать? Так вот не лягу, – сказал архиерей. – Еще несколько строк из того же богословия прочту – только не ваших, а своих собственных в виде эпилога. Некстати наше началось с моей «сладоности ангелов», пусть ею и окончится; и тогда к заждавшемуся нас господину Храповицкому отправимся.

Архиерей прошелся крупными шагами по комнате, расстегнул на ходу ворот подрясника и, вплотную подойдя к архимандриту, сказал:

– Я в отрицание никогда не впадал, как вы. Я хуже: я в отвращенье впал. Это уже не Фома. И даже не Дарвѣн-с. Это – тошнота бесовская. И случилась она со мною на последнем курсе в Академии. Я в Бога не переставал верить. Но что из этого? Ведь и некие веруют, но трепещут и отвращаются. Я самую славянскую букву – из-за ее божественности – возненавидел. И из-за чего это началось – не пойму. Пресыщаемся, что ли, мы, духовные, всяческою снедью духовною, нами не перевариваемою – или окаяшка тут действует самолично, – не умею разобрать. Но до чего дошло: до глупости! Еще на русском языке я божественное мог читать, потому что на нем, кроме божественного, и все прочее пишется, но увижу, бывало, страницу славянскую – и тошнит. Видеть не могу. А каково мне это было, когда мне надо было курс кончать, а специальность моя определилась – литургика, устав, – а там гражданской печати вовсе нет. И была у меня особая ненависть,

– особая, прямо от окаяшки, – к прообразам... Вы не заснули там, на диване?

– Наверное, и всю ночь не засну.

– Да, к прообразам. Как, бывало, где встречу – в богословском трактате или в богослужебной книге о прообразе нечто – об лестнице Иаковлевы или жезле Аароновом прозябшем – так хлоп-с книгу: видеть не могу. Тошнит. Глумотворчество некое проявляется: все бы высмеять, выязвить, перековеркать, и не по обычному семинарскому младоизвинительному перековерканию, а злостно, злобно, с кощунством. Особенно ненавистен мне был Иона с китом. Сколько я естественных историй, самых фантастических и фанатических пересмотрел: они, чем фанатичнее, тем фантастичнее, сказать в скобках, – и все для того, чтобы к окончательной нелепости [\[47\]](#)

кита привести. До статистического измерения китовых носоглоток доходил, чтобы доказать, что Иона в кита никак не мог пролезть, и что лучше бы доказывать, что не кит Иону, а Иона кита проглотил, сообразнее с естествознанием. До чего дошло! Бывало, писать стихиру – а у меня в уме на нее контр-стихира слагается в память Лентяя преподобного или блаженного царя Гороха. Вспоминать теперь противно, до каких гадостей я доходил! Тошнило меня, как неподобную силу, от всякого слова и образа божественного. А курс кончать надо было, и монашество предполагалось. Экзамены начались. Я кое-как крепился: благополучно все сходило. Прошло два-три экзамена, приезжает ко мне неожиданно мать: прослышала от кого-то, что я монашество хочу принимать, приехала поголосить надо мной старая дьячиха моя кротчайшая. Я очень ей обрадовался, домашним теплом повеяло на меня от нее, в сельской церкви надышанным. А она поздоровалась и, через два слова, бух ко мне в ноги: – «Что вы, – говорю, – матушка». Поднимаю ее, а она: «Обещай, – говорит, – что послушаешь мать!» – «Да в чем?» – говорю. «А в том, что, не побывавши в родном месте, на отцовской могиле не помолившись, не примешь ангельского образа». – «Ну, хорошо, – говорю, – обещаю. Только встаньте. Еще надо сперва экзамены выдержать [\[48\]](#)

». Встала, обняла меня. «А это, – говорит, – Господь поможет. Материнские молитвы услышит», – и вынимает из узелка просфорку, маленькую, сухую. «Вот [\[49\]](#)

– возьми. Это я из Киева привезла, от угодников, из пещер, Богородичную вымолила. Держи при себе, и, чтобы, как к учителям пойдешь, при тебе была. И все будет хорошо. А потом, как все кончится, скушаешь хлеба небесного, сладости ангельской». Я положил просфорку в карман и позабыл про нее. Пошел на экзамен – по догматическому богословию. Как на грех, приезжает архиерей викарный – покойный Поликарп, – знаете, догматист известный.

– Знаю. Четыре тома написал.

– Вынимаю билет. Что-то археологическое попало, не помню. Все благополучно уж сошло. Ну, слава Богу. Хочу идти. Ан – нет. «А изъясните, молодой человек, – архиерей вдруг обращается ко мне, – преобразовательное значение пророчества Ионы». И что тут со мной случилось! Я еще, как услышал его славянское «изъясните», так архиерея возненавидел и тут же подумал: «Сейчас он про кита хватит». Так и вышло. Вся моя тошнота к горлу подступила, за все время накопленная. «Ну, – думаю, – «изъясню» я тебе сейчас. С чего бы только получше начать? С носоглотки, что ли? Или, чтобы посолиднее, с учения о пищеварении и желудочных соках [\[50\]](#)

?» Все это во мгновение ока во мне проносится, а тошнота вот-вот прорвется наружу. И вот в ту самую последнюю минуту, как я готовился начать свое изъяснение с носоглоткой и газами, рукой в кармане я просфорочку нащупал материну. Держу ее между пальцами в кармане, и дума думаю пересекла: «А ведь если я кита изъясню преосвященнейшему, как мне хочется, то, пожалуй, и просфорочку мне не придется скушать со «сладостью ангелов», и на родимый погост незачем будет ехать: все этими «изъяснениями» одними кончится. И вдруг так мне стало жаль моей просфорочки, так захотелось ее вкусить со «сладостью ангелов» и поплакать на отцовой могилке, и погрустить, и помолиться, что вся тошнота моя перед ожидаемой этой «сладостью» разом пропала, и я преосвященнейшему так «преобразовательное значение» хорошо «изъяснил», что он даже привстал в креслах и громко молвил: «Изрядно. Изряднехонько: и православно, и глубокомысленно, и весьма научно». И я скушал-таки киевскую просфорочку со сладостью – и с матушкой вместе на могилке отцовской поплакал и тихо и благодарно монашество принял. Но главное не это: главное то, что я этой «сладостью» хлеба небесного навсегда всякую тошноту из своей головы истребил со всякими носоглотками и соками [\[51\]](#)

рационалистическими. Не Яшка их прогнал, а детское дьячихино богословие, по коему на экзамен по догматике, – для утверждения в вере и побеждения

афеистического рационализма, надо «сладость ангелов» брать.

Вот я кончил и свое «некстати». Теперь давайте спать, высокопреподобнейший, или, точнее, читать вечерние молитвы. Это уж давно кстати. Это действительная, даже и для Яшки, «сладость ангелов». А завтра за литургией благословляется вам проповедовать без Яшкиной цензуры.

– А ежели он будет присутствовать в церкви? – с широкой улыбкой спросил архимандрит.

– А мы сочтем его отсутствующим, – сказал архиерей и подал архимандриту книгу «Келейное иноческое правило». – Читайте, отец архимандрит.

Вл<адимирская> губ<ерния>. 24 – 27 окт<ября> 1922.

(Публикацию подготовили А.А.Аникин и А.Б.Галкин по тексту, хранящемуся в Российском государственном архиве литературы и искусства.)

Conversion of WMF images is not supported. Use Microsoft Word or OpenOffice to save this RTF file as HTML and convert that in calibre.

[1]

РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, д. 189, л . 1–53.

[2]

Зачеркнуто: в (одиннадцатом часу, – и ужинать у старосты стали)

[3]

Зачеркнуто: архиерей.

[4]

После слова обрыв края страницы, слово пропущено.

[5]

Обрыв края страницы, слово пропущено.

[6]

В рукописи Дурылина обращения к духовным и гражданским лицам по чину: епископу, архимандриту, протоиерею, генералу – пишутся то с заглавной, то со строчной буквы. Мы унифицировали эти обращения, везде сделав их со строчной буквы. Сохранены некоторые особенности орфографии и пунктуации. (Публик.).

[7]

Обрыв края страницы, слово наполовину оборвано.

[8]

Обрыв края страницы, слово оборвано.

[9]

Зачеркнуто: , мечтавший о скором окончании ужина.

[10]

Каждому свое (лат.)

[11]

Зачеркнуто: жирно.

[12]

Зачеркнуто: Это удивительно! Какая всеобъемдл

[13]

Зачеркнуто: каждой вещи.

[14]

Зачеркнуто: в Уставе.

[15]

Зачеркнуто: – Да какое место, – прорвался протодиакон, – известно, какое: в желудке. Ешь во спасение. – Кое-кто засмеялся.

[16]

Зачеркнуто: Генерал закусил икрой рюмку рябиновки и, утираясь, и совсем развеселившись, что разговор завязался, опять подхватил:

[17]

Зачеркнуто: – я понимаю под хреном или там, sauce pro pro vensale , –

[18]

Зачеркнуто: со смехом.

[19]

Зачеркнуто: замахал.

[20]

Зачеркнуто: решил.

[21]

Зачеркнуто: сие.

[22]

Зачеркнуто: не любил.

[23]

Подчеркнуто автором. Дальнейшие авторские подчеркивания – в тексте.

[24]

Зачеркнуто: его.

[25]

Зачеркнуто: делал.

[26]

Зачеркнуто: владыка.

[27]

Дондеже – пока еще (церк.-слав.)

[28]

Зачеркнуто: за утреней.

[29]

Зачеркнуто: сказал.

[30]

Зачеркнуто: уже.

[31]

Зачеркнуто: – мы тоже ведь постились: рябчика сменяли на икру черную, –

[32]

Сверху карандашом: в сарае.

[33]

Зачеркнуто: меня.

[34]

Зачеркнуто: встали.

[35]

Зачеркнуто: однако разболтался я некстати.

[36]

Зачеркнуто: строжайший.

[37]

Выделено автором.

[38]

Зачеркнуто: архиерея.

[\[39\]](#)

Зачеркнуто: думаю теперь.

[\[40\]](#)

Зачеркнуто: были.

[\[41\]](#)

Зачеркнуто: , и.

[\[42\]](#)

Зачеркнуто: ; будто на человека не хватало. Это страшно.

[\[43\]](#)

Зачеркнуто: сожитель-то.

[\[44\]](#)

Зачеркнуто: уставах.

[\[45\]](#)

Зачеркнуто: вынул.

[\[46\]](#)

Зачеркнуто: знаете что?..

[\[47\]](#)

Зачеркнуто: глупости.

[\[48\]](#)

Зачеркнуто: кончить.

[\[49\]](#)

Зачеркнуто: Это.

[\[50\]](#)

Зачеркнуто: газях.

[\[51\]](#)

Зачеркнуто: газами.